

Вера ЗУБАРЕВА

Горести и радости в американской больнице

Молния ударила прямо в дом. Мы как раз пили кофе на кухне и слушали дождь. С утра обещали торнадо, отменили рейсы, предупредили по всем местным каналам, чтобы люди не выезжали на дорогу вечером.

Ровно в назначенный час дождь постучал в окно. Точность — вежливость королей. Мы налили себе кофе и обменялись мыслями о погоде. Дождь постучал настойчивей.

— Да слышим, слышим.

Вдалеке извивались змейки молний над крышами. Где-то гремело и сотрясалось, а до нас долетали только отголоски небесного действия. Но и они были достаточно мощными. Вскоре началось такое, что выйти на улицу можно было только в акваланге.

— Ну и ну, — только и сказали мы, рассматривая подводный мир улицы.

Трах-тарарах!

Молния, казалось, разорвалась прямо на кухне. Посыпалась мишура электрических искр из глаз люстры, и на этом с электричеством было покончено. Ровно пол-улицы, начиная с нашего дома, оказалась отрезанной от цивилизации.

Дождь мгновенно умчался, видно, отомстив нам за такой неподобающий его сану приём. Мы с завистью посмотрели на окна соседей. Пусть кому-то повезёт... Светлые летние сумерки запылились отряхивающими каплями птичками и загудели подсыхающими насекомыми. Мы вздохнули. Что можно делать в полусвещённом доме в XXI веке? Вечер при свечах не привлекал. Тем более что ужин уже был съеден, фортепьяно электрическое, а пенье птиц можно слушать и в саду.

— Давай поедим в молл, — предложил Вадим. — Там хоть свет и кондиционер есть. Погуляем до закрытия.

И мы поехали.

Молл напоминал заколдованный замок, где, никем не востребованные, грустно болтались на вешалках превращённые люди. Они были небриты, помята и с вульгарным макияжем. Нет уж, лучше созерцать закат. И мы созерцали, оставив это благоустроенное пристанище цивилизованных призраков продавцам и уборщикам.

Небо никогда не бывает вульгарным, даже если в нём намешано множество несовместимых для эстетика красок и оттенков. Оно бросает вызов всем правилам. Интересно, в какой из небесных галерей будет вывешено это полотно?

На обратном пути пришлось объезжать улицы и переулочки с поваленными деревьями. Жильцы и пожарные с полицейскими окружили их, словно пытаясь оказать им первую помощь.

Электричество так и не дали. Наутро было решено ехать вместе с Вадимом на работу. Там холодильник и все прочие прелести современного бытия. Вытащили съестные припасы из тёмного холодильника, чтобы не испортились до вечера, взяли мой компьютер... Вроде всё. Помчались!

Трах-тарарах!

Это я внезапно соскальзываю со ступеньки и лечу вниз, пытаясь задержаться левой рукой за перила с правой стороны. По дороге ломаются кости с таким же грохотом, как при разряде молнии вчера на кухне.

Прибыла. Я внизу.

— Ты в порядке?

— А разве ты не слышал? У меня поломалась рука. Только не дотрагивайся. Сейчас сама соберу то, что внутри, и поеду к тебе в "скорую".

Всё получилось очень даже удачно. В Джинсе (имя больницы или госпиталя, по-английски) у Вадима с утра была запланирована видеотрансляция.

— Значит, так. Забрасываешь меня, бежишь на трансляцию. Встречаемся в "скорой".

То, что у меня перелом, понятно пока только мне. Я не жалею, не стону, веду светскую беседу типа "как дела? — хорошо". Доктор собирается сделать снимок, и балетмейстер-

рентгенолог с воодушевлением принимается за работу. Следуя указаниям свыше, она пытается поставить меня у экрана в правильную позицию.

— Осанку держите прямо, так... голову чуть отклоните вправо, руку от себя. От себя! И — раз...

Похоже, она нервничает.

— Милая, не нервничайте, — пытаюсь успокоить её. — Я не прима-балерина, я знаю, но я стараюсь изо всех сил. Только вот кости мои разъезжаются в разные стороны.

Она думает, что я над ней потешаюсь. У них там как раз несколько истеричных пациентов поступило. Одна просто обрыдалась.

— Отчего вы рыдаете, мадам? Вам плохо? — спрашивает доктор.

— Нет. Но плохо моему отцу, а я не хочу, чтобы и мне было так же плохо, как ему. Вы понимаете, о чём я? Сделайте же что-нибудь, доктор!

Я же в это время качаюсь возле экрана, тщетно пытаюсь попасть хотя бы в кордебалет. Большой театр мне явно не светит. После очередной неудачной попытки проделать какой-то рас, я вдруг начинаю ощущать, что левая часть моего тела медленно надувается, превращаясь в дирижабль. Через секунду дирижабль сдувается, и тело вообще исчезает. Верните мне тело! Какое ни есть!

В ужасе смотрю на свою нижнюю левую часть. На месте. Вот это да!

— Понимаете, у меня ощущение, что... — я делюсь ощущением с рентгенологом.

— Нужно проверить нерв, — говорит она тут же своей ассистентке и убегает к врачу за новыми указаниями.

Прибегает немного подбравшей и с новыми па, разработанными специально для меня. Эту хореографию я в состоянии выполнить. Она беспрестанно хвалит меня, а я, скромно потупив очи, говорю, что это всё благодаря её восхитительному умению взять от каждого по способностям. На прощание мы обнимаемся, а потом она ещё не раз прибегает ко мне, пытается сделать так, чтоб мне было как-то получше и поудобней сидеть и ждать приговора. Милая!

Вскоре появляется Вадим и за ним — доктор в хорошем расположении духа.

— У вас приличный перелом трубчатой кости, — сообщает он. — Хотите взглянуть на снимок?

Кто ж не хочет взглянуть на снимок своих разломанных костей! Хочу, доктор, конечно, хочу! Которое ведите меня к чудесному монитору! Тем более что других зрелищ здесь не предвидится. Меня усаживают в инвалидную коляску и выкатывают на красный ковёр этого медицинского "Оскара". Мне показывают, объясняют, притом с огромным воодушевлением, что и почему грохочет в недрах моего тела.

— Есть у вас на примете хирург, которого бы вы хотели видеть?

О да! У меня есть на примете светило — доктор Малер, который 10 лет назад сложил из шести частей мою раздробленную щиколотку. Глядя на это изящное произведение искусства, никто и поверить не может, что это дело рук доктора Малера, а не Господа Бога.

Пока меня переодевают, накладывают повязку и выполняют другие формальности, мой доктор отправляет по мейлу снимок Малеру, находящемуся на операции в другом госпитале. Через какое-то время он прибегает с ответом.

— Не будем притворяться, что операция не нужна, — говорит он с ходу, понимая, что я надеюсь на гипс. — Доктор Малер сказал, что данный перелом в гипс брать нельзя. Он передал Вам привет и сказал, что сегодня или завтра будет оперировать. Сейчас мы отправим вас в палату, а вечером доктор приедет к вам, чтобы обговорить детали.

Через 10 минут меня ждала карета, то бишь другая инвалидная коляска.

— Куда едем? — интересуюсь у водителя.

— 2 В, — отвечает он.

По-английски это звучит весьма символично: 2 В (как to be).

— Прекрасно! — восклицаю я. — To be sounds promising.

Все смеются, оценивая шутку. Юмор — это то, что роднит людей разных культур. Он звучит здесь везде, даже в больницах, даже в самых сложных ситуациях. Как в Одессе.

Вечером прибегает, отдуваясь и переваливаясь, огромный усталый доктор Малер.

— Как это произошло? — спрашивает, улыбаясь.

— Не иначе как соскучилась, доктор. Не вижу другого объяснения.

Он смеётся. Потом говорит, что кость переломана как раз посередине и половинки находятся в движении. Зафиксировать их при помощи гипса невозможно. Нужно просто сложить их вместе и скрепить болтом. Где-то так. Операция будет длиться от 25 минут до часа. Руку разрезать не будут, только сделают один или два надреза. Операция назначена на завтра, на вторую половину дня. Поскольку нужен рентген во время операции, всё будет зависеть от того, когда такая операционная будет свободна. На том и распрощались.

Приходит палатная медсестра, справляется, нужно ли что-нибудь, рассказывает о распорядке дня. В лице у неё нечто родственное. Смотрю на имя, написанное на халате. Так и есть. Люба. "Откуда?" — спрашиваю, когда она появляется вновь. Оказывается, родители из Украины, а она здесь родилась. По-украински говорит с акцентом, но это мы переживём. К вечеру она заканчивает смену, заходит попрощаться. Мы желаем друг другу доброй ночи, а ещё через какое-то время в палату вливает темнокожая Нефертити по имени Аманда и с царственной осанкой проходит по палате, не удостоив меня взглядом. Это ночная ассистентка медбрата. Она обменивается приветствием с моей тоже темнокожей соседкой, поступившей с обострением болезни жёлчного пузыря, и исчезает, оставляя за собой шлейф загадочности.

Около десяти часов вечера я решаю немного перекусить, поскольку после полуночи и до операции есть нельзя. У меня с собой немного домашней снеди, но до неё не дотянуться. Нажимаю на кнопку вызова, и вскоре в дверях появляется прекрасная Аманда.

— В чём дело? — спрашивает она с неприкрытым гневом.

— Мне бы поесть, — робко говорю я. Не люблю, когда царицы гневаются. — У меня немного еды на столике. Не могли бы вы подать мне вот ту баночку?

Блестя глазами, она подаёт мне еду.

— Благодарю вас. Вы очень добры, — лепечу, втайне любя её редкой грацией.

Утром она появляется преобразённой, благосклонно измеряет мне пульс, температуру и давление и уходит навсегда из моей жизни, пожелав моей соседке скорейшего выздоровления. Добрая пожилая темнокожая Анжела, приходит ей на смену.

— Что у тебя за акцент, милочка? — интересуется она почти с ходу, вновь проверяя температуру, пульс и давление.

— Русский.

— Русский! Как я обожаю этот изумительный тяжёлый русский акцент!

Дружба завязалась сразу, если не между нашими странами, то между двумя их представительницами. Анжела была ангелом во плоти. Она обтёрла моё тело хлорином, переменяла халат и обладала вниманием.

— Не важно, какой у человека акцент, — приговаривала она, расставляя по местам баночки на моём столике. — Всё, что требуется — научиться слушать другого. Слушать! Понимаешь?

— Понимаю, Ангел.

Около 14:00 меня, наконец, увозят прямо

в моей кровати, что напоминает мне сказку "По щучьему велению".

— Когда ты вернёшься, я буду здесь ждать тебя, — уверяет меня Анжела.

"Этаж "to be", на котором меня ждёт ангел. Всё должно быть хорошо", — думаю я по дороге на плаху.

Через несколько минут я была доставлена в операционное отделение в сопровождении санитаров и Вадима, подоспевшего как раз вовремя. Кровать поставили в специальном закутке в коридоре, откуда рукой подать до операционной. Мимо пробежали люди в разных халатах. Видимо, после операций.

Вскоре подошёл анестезиолог. Он был угрюм и бледен, как житель подземного царства.

— Как же я ненавижу общий наркоз, — поделилась я мыслями вслух.

Он согласно кивнул. И это не прибавило мне спокойствия.

— А местную анестезию можно? — пыталась я разговорить его.

Он отрицательно мотнул головой. Потом приступил к пояснению процедуры по протоколу.

"И этот человек остановит мои жизненные процессы, парализует мои мышцы и отрубит меня от мира", — стучало в висках.

Закончив, он удалился. Вадим поцеловал меня и тоже умчался по вызову.

К моей кровати приближались две веселенькие тётушки.

— Меня зовут Кэрол, — представилась одна из них. — Я работаю в паре с анестезиологом. Я начинаю, а он завершает.

— А я Нэнси, операционная медсестра, — с таким же энтузиазмом представилась другая.

Я прониклась к ним искренней симпатией и пожелала быть предельно откровенной.

— Кэрол, — начала я без обиняков. — Мысль об общем наркозе угнетает меня.

— О как я тебя понимаю! — воскликнула она. — Я сама терпеть этого не могу — как пациентка. Я люблю быть в курсе происходящего, у руля, и ненавижу, когда меня отрубает. Но ты будешь в полном порядке. Лежи, отдыхай, сейчас доктор подойдёт.

Она унеслась, и вскоре, тяжело переваливаясь на негнущихся ногах, ко мне подошёл добрейший доктор Малер. Мелькнула мысль о том, что ему пора ставить искусственные колени.

— Всё будет хорошо, поверь мне, — просто сказал он, взяв мою руку в свои медвежьи ладони. — У меня было две операции в прошлом году, и всё закончилось прекрасно. Наркоз — ерунда. Не думай об этом. Ты ничего не почувствуешь, и время пролетит незаметно.

Душка.

Как только наша аудитория подошла к концу, вернулись Нэнси с Кэрол. Кэрол несла какие-то целлофановые кулёчки с жидкостью и была в особо приподнятом настроении. На кулёчки я покосилась с недоверием.

— Что это? — спросила я Кэрол.

Она мне заговорщически подмигнула:

— Я работаю барменом по совместительству.

Нэнси хихикнула.

— Что сие означает? — всполошилась я.

— А то, что я стою на раздаче прекрасных коктейлей. Пациентам нравится.

Нэнси снова хихикнула. И тут мне стало весело. Ну просто праздник! Меня везли по коридору, кружили-вертели, завезли в огромную комнату, и там были... все вы. Да, да! Все мои фейсбучные друзья, которых я знала и не знала лично, стояли и ждали меня. А потом началась какая-то небывало интересная дискуссия о литературном процессе, о литературе, о новых записях в блогах. И всё в каком-то радостном, приподнятом ключе.

Александр БИРШТЕЙН Ожидания, которые не сбылись

— Вера, вы идеальная пациентка! Просыпайтесь, — услышала я и улыбнулась. Ну какая же я пациентка? Хотелось бы знать, кто из моих друзей так пошутил.

Оказалось, это была Нэнси, моя новая подружка. Завидев мою улыбающуюся физиономию, она сказала:

— Хорошее начало.

— Можно воды?

— Сейчас. Я дам тебе пока что немного льда, а то вся твоя вода может выйти наружу.

"Хорошенькое дельце!" — воскликнула во мне Рина Зелёная, и я послушно взяла леденчик льда и поспешила его в своё удовольствие. Доктор Малер помахал мне рукой на расстоянии.

— Вас тошнит? — поинтересовалась Нэнси.

— Немного.

Она что-то подложила мне под щеку.

— Это на всякий случай. Хочешь увидеть своего мужа? Он в коридоре, ждёт.

— Нет.

Все захохотали.

— Почему?

— Не хочу, чтобы он подумал, что меня тошнит от него.

Тем временем меня накачивали чем-то от тошноты.

— Ты такая розовенькая, — сообщила Нэнси. — Температуры нет, я проверяла. Наверное, это от нагретых одеял, которыми мы тебя прикрыли.

Дальше пошла непереводаемая игра слов. Пытаясь объяснить свой радостный цвет лица, я сказала:

— I had a very good dream.

— A good dream? — переспросила Нэнси, не связав dream с пылающими щеками.

— Да нет, не крем, а сон.

— Ах, сон! Сон — это прекрасно. А ты чудно смотрелась, когда спала. Глаз не оторвать.

Моя улыбка стала ещё шире. Я бы расхохоталась, но сил на это не было. Знала бы хитроушка Нэнси, что накануне я полезла в "Ютуб" и отыскала-таки видео, где показывали пациентку под наркозом: глаза залеплены клейкой лентой, во рту трубка. Ну просто спящая Венера! И тут же где-то на краю повреждённого сознания мелькает другая мысль: им что там делать было больше нечего, как только разглядывать мою спящую особу?

Тем временем Нэнси вещала кому-то по телефону:

— Имя пациентки — Вера Зубарева. Уже пришла в себя. Операция прошла нормально. Она ещё тут. Просто кинозвезда!

Перевожу взгляд на настенные часы. Ничего себе! Уже почти 21:00! Что-то поздно для короткой операции. Смотрю вопросительно на Нэнси.

— С тобой всё в порядке, — поспешно заверяет меня она. — Задержка произошла из-за отсутствия одной детали в наборе для твоей руки, который нам поставляют другой госпиталь.

Оказалось, что когда операция подошла к концу и оставалось ввинтить шуруп, шурупа на месте не нашли. Просто те, кто отвечал за набор, забыли его туда положить. Такого ещё не было в практике доктора Малера.

— Давайте разбудим её, а завтра закончим, — настаивал анестезиолог.

— Ни в коем случае! Разве вы не знаете, как она относится к анестезии? Мы не будем подвергать её дважды этому стрессу.

Как хорошо, что генералом был Малер! Ровно два часа я лежала под наркозом, пока связывались с поставщиком и переправляли шуруп по назначению. За это время можно было бы написать новую спящую Венеру — под маской! Но я не роптала. Чувство зыфории от пробуждения в этом мире меня не покидало.

— Ладно, — сказала я Нэнси. — Раз такое дело, идите вы все по домам, а меня везите к мужу.

И они повезли меня к моему дорогому, любимому, единственному...

Филадельфия.

Для меня началось все с книжечки синего цвета, изданной в Одессе и названной "Время больших ожиданий". Сколько раз я ее читал! И, конечно, взялся за томики цвета кофе с молоком — собрание сочинений писателя. И поразились. У ПАУСТОВСКОГО НЕ БЫЛО ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ГЕРОЕВ. Никто не вызывал на его страницах омерзения, ненависти! Сожаление, гордость, улыбку, любопытство, приязнь... Я прочел почти все, написанное Константином Георгиевичем. Я прочел от корки до корки книгу-подвиг — его подвиг! — альманах "Тарусские страницы". Но главная (для меня!) книга — все равно "Время больших ожиданий".

"В февральский день 1920 года во время пронзительного норда денкины бежали из Одессы, погнав напоследок в город несколько шрапнелей. Они лопнули в небе с жидким звоном..."

И все. И Одесса свободна. А в ней голод, холод и разруха. Но зато в Одессе, наконец, мир. А это сулит надежду. И пробуждает ожидания. Огромные, как море, которое плещется под улицей Черноморской.

"Самый путь из города на Черноморскую улицу был своего рода лекарством от невзгод. Я часто испытывал это на себе. Иногда я возвращался из города в полном унынии из-за какой-нибудь неудачи. Но стоило мне войти в безлюдные переулки, окружавшие Черноморскую: в Обсерваторный, Стурдзовский или Батарейный, — услышать шелест старых акаций, увидеть темный плющ на оградах, освещенных золотющим солнцем зимы, почувствовать веяние моря на своем лице, и тотчас возвращались спокойствие и душевная легкость..."

Давайте договоримся: в самом начале 20-х годов прошлого века Паустовский еще не был писателем. Газетчиком разве что. Но он уже вел дневник, на основе которого написаны его книги. Вернее, многие из них. И "Время больших ожиданий" — тоже. В принципе, эта, самая любимая для меня у Паустовского книга, состоит из трех компонентов: дневниковые записи, вымысел автора и следы огромного влияния на него двух великих писателей, с которыми он общался в Одессе. Это, конечно, Иван Бунин и Исаак Бабель. Наверное, огромное счастье для будущего писателя, когда на тебя влияют-учат такие авторы. Но... Все дело в том, что взгляды Бунина и Бабеля очень сильно отличались.

"Вообще, как только город становится "красным", тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц, улица преображается.

Как потрясал меня этот подбор в Москве! Из-за этого больше всего и уехал оттуда.

Теперь же самое в Одессе — с самого того праздничного дня, когда в город вступила "революционно-народная армия" и когда даже на извозчичьих лошадах, как жар, горели красные банты и ленты.

На этих лицах, прежде всего, нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем".

Так писал и думал Бунин. Так он и говорил.

А Бабель? Бабель, прошедший Конармию и написавший "Конармию", говорил совсем иное.

"Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью — Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня..."

Так писал и говорил Бабель. А думал... Трудно сказать. Вот его конармейские дневники. Вот "Конармия". Все совпадает.

Но можно ли, пройдя "Конармию", писать о счастливом будущем, надеяться, нет, верить в него? Это для меня загадка. Но так было. Да и не обо мне речь, а о Паустовском.

Я вот все думаю, почему Паустовский в книге "Время больших ожиданий" ни словом не об-

молвился о том, что в Одессе он жил не один, а с женой, и она делила с ним голод и невзгоды. Наверное, потому, что книга во многом придумана, что невзгоды в ней невелики, что всегда находился выход... Пусть не он сам его находил, а кто-то из друзей. И он отдает им мысли и решения, которые не решаются озвучить сам. Но не всегда это получается.

"...В Одессу революция принесла с собой не только сложившиеся на севере формы государственности и быта, но и привела на черноморский юг новых людей, воспитанных революционной бурей и чуждых практическому опыту обывателя-одессита. Появились решительные и неумолимые люди (их всех одесситы без всякого разбора звали "комиссарами"), точно знавшие, что нужно для победы революционного сознания среди пестрого, чрезмерно экспансивного и склонного к анархическим поступкам населения Одессы..."

Сравните с бунинским:

"...Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну, хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое!

"Революция — стихия..."

Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революцию всегда "углубляют".

Видно, что Паустовский изо всех сил пытается отринуть бунинские взгляды, я бы даже сказал — бунинское учение. Он все время ищет или придумывает что-то светлое, что-то хорошее.

"...Я невольно поддвечивал и подсвечивал жизнь. Мне это нравилось. Она от этого наполнялась в моих глазах добавочной прелестью..."

И была, была эта прелесть. В пустынном Австрийском пляже, в море, в одиночестве... И, конечно, в грусти по прошлому.

"...До этого пляжа идти из города было дальше, чем до большого Ланжероновского. Поэту на Австрийский пляж ходили только любители безлюдья. А может быть, и любители той морской старины, которая сохранилась главным образом на гравюрах в желтых журналах. Потому что на Австрийский пляж надо было идти через порт, мимо вросших в землю, разряженных шарообразных мин и окрашенных в желтый и красный цвет бугров, мимо каменных трапов к воде и сигнальных мачт, старых шаланд и бухт истлевшего каната, наконец, мимо загадочного маленького дома на молу с белой башенкой и проржавленным балконом..."

Дорога к тишине и покою через уничтоженное прошлое и безрадостное настоящее.

Но если прошлое и настоящее погублены, каким станет будущее?

"...Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета расквашивающей своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей, разрыхленные, запущенные веки. Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами. Не прошло и дня, как все у меня было — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране..."

Так писал Бабель.

"...Необыкновенно коротка показалась Дерибасовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатерининская, закутанная тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море — маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние, вдруг осознал уж как будто совсем до конца все, что творится в Одессе и во всей России..."

Так навек прощались, предвидя будущее, Бунин.

И опять. А что Паустовский?

"Я прочел приказ Одесского губисполкома о том, что в целях экспроприации у имущих классов богатств, являющихся отныне народным достоянием, в Одессе объявляется "День мирного восстания". В этот день у всех без исключения граждан будут отобраны излишки вещей и продовольствия, кроме самых необходимых, указанных в списке. Я посмотрел этот список. Там было напечатано: "Оставить в пользовании каждого гражданина комплект верхней носильной одежды, комплект белья, пару ботинок (кроме сапог), головной убор" и так далее, вплоть до "одной ложки столовой и одной чайной, ножа, вилки, кружки, самой необходимой посуды для варки пищи и ста граммов сахара (...)

"В случае нахождения золота и драгоценных вещей, иностранной валюты, а также предметов роскоши и спекуляции скрывающие их лица будут преданы суду, как за измену Родине и контрреволюцию".

Много горечи, правда?

А Бунин? Он ведь тоже написал об этом дне!

"Ужасное утро! Пошел к Д., он в двух штанах, в двух рубашках, говорит, что "день мирного восстания" уже начался, грабёж уже идет; боится, что отнимут вторую пару штанов. Вышли вместе. По Дерибасовской несется отряд всадников, среди них автомобиль, с воем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили Овсянко-Куликовского. Говорит: "Душу раздирающие слухи, всю ночь шли расстрелы, сейчас грабят"

Похоже, правда?

Бунин уехал. А Паустовский остался.

Вот мы говорим: "Серебряный век". Да, был такой. А каким же тогда именем назвать время, давшее миру не одного, не двух, а десятки великодушных одесских писателей? Писателей, оказавших огромное влияние на всю русскую литературу того периода. Можно ли вообще, говоря о литературе начала XX века, обойтись без имен Олеси, Бабеля, Катаева, Ильфа и Петрова, Багрицкого, Нарбута, Шенгели, Штейнберга?..

Заметьте: в этом списке должно быть и имя Паустовского, много писавшего в Одессе, но нет И.А. Бунина, написавшего тут свои лучшие рассказы.

Именно во время ожидаемых "больших перемен" начинали эти писатели и поэты. И все происходило на глазах Константина Паустовского. Вернее, вместе с ним!

"...Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на Фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала наша молодость, а печальное оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроницаемых южных ночей. Они опускали свой полог совсем рядом с нами, за первой же каменной ступенью нашей террасы..."

Молодость и тревога. Просто тревога. Наверное, надежды. Нет, точно, надежды. Все это пропущенное через душу и разум, и было творчеством. Из газетчика и журналиста рождался большой писатель, принявший на себя всю тяжесть выпавшего ему века.

Закрылся "Моряк", потом снова открылся. Писатели и поэты стали покидать Одессу. Она была им уже мала... Уехал и Паустовский. Знаете, ведь только его и Катаева жизнь закончилась благополучно... "Умер" в своей постели..."

И, в общем-то, чуда не произошло. Ожидания не сбылись. Зато сбылось творчество. Паустовский написал много книг. Прекрасных книг...

В декабре 1981 года по пути из Узени в Красноводск и далее машины наши неожиданно выскочили на берег залива Кара-Богаз-Гол. Правое колесо подымало фонтан соленой-пресолоной воды, а левое мчало по песку.

— Останови! — вдруг попросил я водителя.

"ЗИЛ" встал. Я выскочил из кабины прямо в соленую воду залива, раскинул зачем-то руки и заорал:

— Здравствуйте, Константин Георгиевич!

Зима 1981 года. До перемен оставалось не так много времени. Но никто еще об этом не знал.